

# БЕГЛЕЦ

Историческая повесть



Сергей Петрович Багров родился 8 января 1936 г. в Тотьме. Закончил Тотемский лесотехнический техникум, где учился вместе с Николаем Рубцовым, и Пермский госуниверситет. Уехал в юные годы из дома, сменил не менее десятка профессий. Жил в Подмосковье, Алма-Ате, Ал-Ата, Перми. С Вологдой связана работа в редакциях областных газет и Доме народного творчества. Первую книгу рассказов выпустил в 39 лет. Много ездил, много ходил. Главными поставщиками сюжетов стали леспромхозовские поселки, райцентры, деревни и города Тотьма и Вологда. Книги свои издавал в Ленинграде, Архангельске, Вологде и Москве. Член Союза писателей России. Живет в Вологде.

## СЕРГЕЙ БАГРОВ

**«...Шемяка... пришел на Устюг  
в насадах, и устюжане против его  
щита не держали... и казнил  
Емельяна Лузского, да Миню  
Жугулева, да Давида Долгошена,  
да Евфимья Еживина: метал их  
в Сухону... Еживин же, на дне  
сидя, изловчился и выплыл...»**

*(Архангельская летопись)*

\*\*\*

Голова у Ефимки крепкая, помнит все свои дни. Особенно те, когда уходил из зоримого Гледена, вынося на плече воеводову дочь. Конечно бы, он не ушел, кабы не синяя с бровью туча, свалившая вместе со снегом и темноту. Взял он красавицу в тереме воеводы, развалив топором долговязого вятича, когда тот, задыхаясь от похоти, повалил девицу на лавку и уже срывал с нее беличью шубку и сарафан.

Услышав топот по коридору, он, не мешкая, поднял несчастную с лавки и, спотыкаясь о труп, сунулся в голбец, дверцу которого тут же прикрыл, и, спустившись по темным ступенькам, оказался в подполье возле печного ряжа.

В глаза проблеснуло серпиком света. Слуховое окно! Подошел к нему, опустив девицу возле себя на холодный глиняный пол.

- Жива? - осторожно спросил.

- Жива, - услышал испуганный голос.

- Ты кто?
- Настасья.
- Как оказалась-то тут?
- Это мои палаты.
- Ты дочь Оболенского?
- Дочь.

Было слышно, как где-то над ними, визжа половицами, громыхали шаги. А с воли около терема проскрипели по снегу дворовые сани. И голоса:

- Куды его?
- Вверх, на башню!

Еживин увидел, как сани остановились и двое в толстых кафтанах конвойных взяли блеснувшего шлемом широкого человека. Настасья так вся и вытянулась к окну. И только-только не крикнула: «Тятя!», да помешала рука Ефимки, закрывшая девице рот.

- Услышат.

В оконце подвала не многое разглядишь. Лишь короткую часть двора с тремя фигурами удаляющихся людей да воя, закованного броней, который, вытянув меч, показывал к башне, куда вести плененного воеводу.

- Наверх его! Пригвоздите, чтобы видел весь город!

Голос был резкий, не допускавший непослушания. «Василий Юрьев, - узнал Еживин галицкого князька. - Коварный хорь. Давно ли пел Оболенскому: «Увожу свое войско. Но прежде

хочу пожать десницу твою! Абы ты не держал на меня свое храброе сердце!»

Оболенский поверил галицкому князьку. Махнул мечем, приказывая стоявшему в сторожах Ефимке открыть ворота.

Завередило в груди Ефимки. Чуял: ошибку делает воевода. Недруга впускает он в крепость. Однако ослушаться было нельзя. Снял затворное, в десять пудов тесаное бревно. Раздвинул ворота. И тут, ниоткуда возьмись, облавная рать, рванувшая с ором на город.

Оболенский понял свою оплошность, когда в глазах его зарябило от надвигающихся кафтанов и перед ним стали падать гледенские мужи, смертельно насаженные на копья. Двуручный меч из его десницы был выбит ударами палашей, и воеводу тут же швырнули в дворовые сани, за которыми шел, поблескивая броней, галицкий предводитель.

- И дурак же ты, Оболенский! Вроде бы не карась, а поверил кому? Хитрой щуке! - Василий Юрьевич улыбался. - Попал, как курица в оцип! Девять недель ты мучал меня с моим войском! А я тебе часу на муки не дам!

Молчал Оболенский. Действительно, дал он огромного маху. Девять недель защищал свою крепость. И урону не нес. Напротив, многие галичане остались лежать на снегу, пораженные гледенскими стрелками. И вот оплошал, поверив коварному князю.

Еживин все это видел и слышал, и сердце его заливало досадой. Бежать на выручку к воеводе было уже нелепо. Как-то так получилось, что он хотя и не прятался, но оказался от всех и всего в стороне. Открыв ворота, он стал невидимым из-за ели, простиравшей свои широкие лапы от самой земли.

А галичане, смешавшись с вятскими воями, шли и шли. Кто в пешем разброде, кто в дровнях, кто верхом на коне. И тех, кто вставал у них на дороге, насаживали на копья или рубили мечом. Рев насилия и погрома летел по городу, нарастаю. Кто-то жаждал бесплатных мехов. Кто-то -

забористой медовухи. Кто-то - визжащий от ужаса гледенской женки.

Еживин сумел незаметно уйти от ворот. Обогнул бревенчатый дом. И второй обогнул. А в следующий, самый большой, в два этажа и с крышей, как шлем, где жил воевода, дабы не столкнуться с грабительской шайкой, ломавшей парадную дверь, проник со двора. В сенях, на березовой чурке увидел топор, которым рубят мерзлое мясо. Взял его и, пройдя коридором, свернул через полуую дверь в людскую. Тут и увидел насильника. Тут и вскинул топор.

\*\*\*

В пазы слухового оконца сочился с улицы холодок, донося запах мерзлой травы и снега.

- Как ты там? - Ефимко всмотрелся в чуть видимый силуэт дочери воеводы.

- Кресты кружатся в голове, - сказала Настасья.

- Ничего. Как-нибудь, - отмолвил Еживин.

- Ты не бросишь меня? - в голосе девы теплилась надежда.

- Лезем! - Еживин выставил раму, протиснулся по-пластунски к слепо мерцающему сугробу. Пособил и Настасье выползти из подполья.

Было еще светло. Шум осадников раздавался на дальних улицах, где добивали тех, кто не смог убежать или спрятаться от погони. Трещали заплоти и калитки. Звон и хряст вышибаемых рам. Неожиданно сверху, как с облака, голос князя:

- Прибивай!

Они подняли головы и увидели наискось от себя над бревнистой стеной в пышнотельных кафтанах трех палачей, державших копьями воеводу. Четвертый, взмахнув молотком, прицелисто стукнул по кованому гвоздю, прибивая ладонь Оболенского к башне. Застонал воевода.

Ефимко весь передернулся, ощущая в деснице несносную боль, словно гвоздь забивали не в Оболенского, а в него. И услышал шуршанье беличьей шубки, с каким оседала на снег Настасья. Он успел ее подхватить,

посадить себе на плечо и, пригнувшись, метнувшись во двор. Оттуда, шаря глазами, выбрал дорогу по-за дворами и, проваливаясь в сумёты, пустился к обрыву реки.

Повалил густой снег. Настолько густой, что не видно стало и в трех шагах. Туча с бровью летела на город, как темная рать, и это было так кстати.

Уже за воротами Гледена, возле горелой сосны, за которой сбегал к реке снежный берег, Еживин остановился. Надо было унять дыхание, которое он сорвал, слыша, как тяжело и обломно бухало сердце.

Поотдохнул - и к реке, безлюдной, гудящей и белой от грозно мчащегося бурана.

Шел Еживин, глотая с воздухом хлопья снега, моргал и с какой-то мужской скрытой нежностью осязал уставшим плечом живую поклажу. Ни словом, ни вздохом не подавала Настасья признаков жизни.

Неожиданно вырос бык с четырьмя суками на голове. «Сохатый, - признал Еживин, - тоже спасается, как и мы. От кого? И зачем прёт туда, где грабят и убивают?»

Лось отпрыгнул в сторону и пропал, как пришелец другого мира. Еживин походя поглядел на беличий воротник и мягкий вязаный полуушалок. «Вроде живая. Вроде как дышит».

Он поднялся на левый берег. Занесенная снегом копна. Березовый ерник. Свист метели, и что-то тревожное в этом свисте, напоминающее вытьё. «Волчья стая, - смекнул Ефимко, - она и спугнула быка. Не хватало нам этой встречи.... Господи, сделай так, абы нам с вражатами не столкнуться», - и похлопал по животу, где таился в чехле охотничий нож.

Отсюда до Устюга три с половиной версты. Ветер шел не от них, а на них. Оттого не учяли волки поживы, и Ефимко понял: стычки не будет.

В Устюг вошли они не таясь. Ка-раульщик ворот Кузьма Водокрасов в медвежьем тулупе и шапке с разлапистыми ушами приходился Еживину своим, потому и пустил их без лишних расспросов.

- Это чё, твоя жёнка? - Водокрасов помог Ефимке снять Настасью с плеча.

- После... После об этом, - сказал Еживин.

Настасью они занесли в холодную подклеть тайнишной башни. Здесь хранились конная упряжь, оружие и какие-то кадки, корчаги и бураки, от которых пахло ягодами и салом.

- Бежали от галичан? - спросил Кузьма, зажигая лучину.

- От галичан, от вятчан - в общем, от князя Василия Юрьева, кой в разбое, - ответил Ефимко.

Дальше не надо и объяснять. Кузьма был понятливым человеком. Сам бывал в таких переделках. Однажды тоже бежал из Устюга в Гледен, спасаясь от татарвы, нагрянувшей ночью на город. Бежал с Марией, и жили они тогда в доме Еживиных две недели.

- Как сеструха моя? - осведомился Ефимко.

- Всё по ладу. Баба отпорная, на бас не возьмёшь, - ответил Кузьма и посмотрел допытливо на Настасью, лежавшую на медвежьем тулупе, который он скинул с себя, постелив на скамью. - Красовитая. Кто она?

- Дочь воеводы.

- А сам воевода?

- Висит на стене.

Они сидели на лавке среди бураков и корчаг, оба громоздкие, большеголовые, с опущенными руками, точь-в-точь ратники после боя.

- Чё с ней? Не ранена? - Водокрасов кивнул на Настасью, лежавшую как неживая с бледным лицом и ресницами, на которых блестел растаявший снег.

- Видела, как убивали отца, - ответил Еживин, - страхом взята.

- Обереги ее Бог! - Кузьма поднялся, снял со стены нагольный с подкладкой азям, натянул на себя. - Ты тут сиди. Я - по лошадь. Стоит под стеной. С санями. Сам до нас и свезешь. Марья дома. А я задержусь. Сам понимаешь, служба. Бдеть тут и бдеть. Вороочусь поутру...

\*\*\*

Метель уходила на север, и в теме-

ни улиц снег слепо кружился, падая на податливый круп гнедого коня. Ехать недалеко. Еживин направил гнедка к теремам. Оттуда - проулками к верху, где среди низкорослых жилищ таился красивый, с резными воротами, дом. Здесь и жили Кузьма с Мариией.

Сестра у Ефимки быстрая, как стрела. И видом дородна. Впрочем, и сам Ефимко был из приметных. И все-го-то ему девятнадцать, а был уже в славе тех разудальных детин, кто умел храбро драться мечом и копьем, а то и голыми кулаками. Детство провел он на вольном двуречье, где смыкались Сухона с Югом, и считался дивным пловцом, нырявшим на спор не только под лодки, но и широкие, в десять саженей, плоты, пугая опешивших плотоводов.

Мария не удивилась внезапным гостям. Открыла дверь и, увидев брата с подъехавшими санями, где лежала прикрытая кошмой юная дева, подторопила его занести ее в дом.

- Баская, - сказала Ефимке, едва он занес молодую в жильё. Занес и хотел уже было уклсть на впритык к русской печке придинутую лежанку, как Настасья открыла глубокие, в зыбкой тени от ресниц голубые глаза. Рассеянно улыбнулась и робко:

- Где это я?

- У своих! - сказала Мария и стала готовить стол, расставляя на нем домашнюю снедь.

Был конец января 1436 года. За окнами - стужа и ночь. А здесь, в низких хоромах, где стояли две лавки, плыли полати, а пол полосато светился половиками, было тепло. Настасья почувствовала в себе какую-то смелую перемену, словно до этой минуты жила она в мире ненастоящем, и вот в ее душу пахнуло чем-то свободным, и стало ей умиренно и хорошо.

Еда была самой простой - щи и соленая рыба. Был и кувшин с нежным пенинком. Выпили, чтоб забылись все горести и печали и воскресла спокойная справная жизнь.

Настасья оттаивала, теплея. Мнилось, будто рядышком с ней сидели

близкие люди, заменившие ей родню. И когда Мария спросила:

- Как увидела я тебя с каким-то нетутошним лицом, так и пало на ум: отчего это всё?

Настасья открылась:

- Я в родимчике побывала. Гостила у смерти. Еле вызволилась оттуда.

Нежный голос ее как погладил Ефимку, и он стеснительно улыбнулся:

- Слава Богу, гоститься там боле тебе не надо. Теперь ты с нами. Какнибудь уж убережём.

Ненавязчивый голос Ефимки был как тихая песня, да и сам он - большой, с молодым, как у мальчика, лбом, на который наехала русая чёлка, и улыбчивым ртом, переполненным сахарными зубами, показался ей добрым и милым. А Мария зной тараторила, как художник набрасывая портреты:

- Я, Настасьюшка, баба лихая! Ничего не боюсь! В девках была первая атаманша! Отроки наши меня за беспрашицу и любили. Стаями провожали. Выбирай, кого хочь. А мне токо Кузя впондрав. Ой, бойкой! И владелый! Старатель и наживальщик! Ничего не упустит. Всё тащит в дом. Бедно с ним не живали. Он и топерь у меня в могуте. Хоть медведь его и погрыз, а сильней его в Устюге нет. Никто с ним не сладит.

Перебивает ее Ефимко:

- А я?

- Ты - свояк. Ты не в счет. Да и молод еще! Не спеши выставлять мого-ту.

Мария глядит с лукавинкой на Настасью. И бровями, острыми и косыми, как взметнувшимися стрижками, показывает на брата:

- Он у нас храбраться горазд!

На какую-то долю секунды Настасья ушла куда-то в свою. Даже вздрогнула, точно ее возвратили в сегодняшний день, открывавший свою преисподнюю для нее, где она должна была стать опозоренной и несчастной, кабы не этот сидящий сейчас рядом с нею стесняющийся Ефимко. Такой здоровенный, а смиренный, подумала про себя.

- Храбраться, - сказала вслух и ослепла, застигнув глаза Ефимки, глядевшие на нее с таким ожиданием и любовью, что она, улыбаясь и плача, уткнулась лицом в его грудь, ощущая себя до радости защищенной.

Это после, двенадцать недель спустя, когда наступит весна и на Сухоне, вереща и ломаясь, двинутся в сторону Гледена льдины, молодые с подробностью вспомнят метельную ночь, и Ефимко тяжелой, как ковшик, рукой накроет Настасьину голову и погладит ее, не веря тому, что к нему привалило такое счастье, и оба поймут, что отныне их повязала судьба и что быть им теперь только вместе.

\*\*\*

Всю остатнюю зиму жили они под одной общей крышей. Две семьи, два крыла уютного дома, разделенного пологом из холстины.

Мария держала хозяйство - корову, лошадь и стайку овец. Для Настасьи, не знавшей в отцовских палатах вообще никакой работы, знакомство с живностью было в радость. Вдвоем и ходили они к скотине. Подоить, надавать соломы и сена, вывести лошадь, запрячь в сани-розвальни, съездить в лес, нарубить там берез и к потемкам вернуться домой с дровами - это все они делали вместе. Мария, как сильный мужик, управлялась с такими работами быстро и ловко. Настасья же - неуклюже, но со старанием и охоткой, и было ясно, что скоро она обучится этой обрядне и даже сможет вести хозяйство сама.

Кузьма был на должности - стражем ворот. Следил за Присухоньем, ровной долиной, что подходила к рытому рву, откуда могли показаться незванцы. Над крепостной стеной под тесовым навесом блестел медный колокол, извещая в опасный для города час о врагах. Специального войска в Устюге не держали. Но в нужное время войско рождалось в считанные минуты. Посадские люди, строители, кузнецы, ремесленники, торговцы - словом, все горожане в час, когда раздавался набат, поднимались на сте-

ны, чтобы отбиться от наступленцев.

У Водокрасова в подклети башни хранились копья, секиры, луки со стрелами, алебарды, дротики и мечи. Он на случай беды и Еживину выбирал палаш и дротик. А себе оставил колчан со стрелами, лук и тяжелый двуручный меч.

Считался Кузьма в своем городе лютым бойцом. Но в минувшем году по третьему снегу ходил на берлогу. Медведь едва выбрался из коряг и поднялся, страха зверобоя, как тут и встречен был остро заточенными рогами.

И, конечно, Кузьма бы не оплошал, проколол бы рогатину медведя, да сломались рога, и зверь, словно буря, бросился на него. И помял бы его, да добытчик успел сунуть руку в его разъяренную пасть. Пропихнул ее вглубь и держал, не давая медведю дышать, и хозяин коряжника сипло закашлял, осел на измолотый снег и подох.

Разумеется, руку, изжеванную медведем, Водокрасов пытался спасти, побывав пару раз у местной знахарки. Рваные раны зарубцевались, но была потеряна гибкость, и рука оказалась слабее другой. Потому и выбрал Кузьма меч с большим, для обеих ладоней крьжем, чтобы рубиться им в обе руки.

Водокрасов, как всякий хозяйствственный муж, у кого было все до мелочи на учете, был рад Ефимке прежде всего потому, что увидел в нем даровую рабочую силу. Он и лошадь выделил для него, чтоб Еживин свозил ко двору еловые бревна, которые были нарублены впрок и ждали, когда заберут их из леса.

До этого леса четыре версты. И Еживин делал в день по три ездки. Просторный двор Водокрасова становился похожим на склад, где торгуют строительным лесом.

А потом, когда вывез Ефимко все бревна, стал пилить их на пару с Кузьмой на высоком козловом станке. Продольные пильщики, что верховой, что низовой, были в высокой цене, и Кузьма экономил на этом изрядные деньги. Внизу было легче, и стоял там

обычно сам Водокрасов, а Ефимко вверху, поднимал за ручку пилу, и к вечеру плечи его становились тяжелыми, будто бревна. И Кузьма уставал, в то же время был предоволен. Его круглые, как у ястреба, все и всех примечающие глаза вспыхивали азартом при виде свеженапиленных плах и досок, которые он по лету прошаст и на деньги обзаведется господской каретой, ибо видел и ночью, и днем, как он едет по мостовой, и все отдают ему уважительные поклоны.

Деньги. Деньги. Они грели душу Кузьмы, волновали возможностью стать влиятельным человеком, кому подчиняются, угощают и с удовольствием смотрят в рот.

Гледен тоже манил его из-за денег. Потому иногда выбирался туда. Не один, а с Ефимкой. Пробирались туда, таясь, чтоб узнать: ушли или нет галичане. В прошлый раз напоролись на стражу. Двое рослых в стеганых доломанах вершника на конях застигли их возле купеческой лавки. Стражники оплошали, приняв их за нищих и стали весело забавляться: кто скорее подколет этих людышек копьем? А людышки, нарочно одетые в зипуны, оказались не только увертливы, но еще и ловки. Поймали концы восстрых копий, дернули на себя, и вершники оказались внизу, под копытами лошадей.

Так и остались лежать посередке улицы на снегу, оба с копьями в горле. А лошади были захвачены как трофеи и шли рысцой из Гледена в Устюг. Шли, чтоб ночами стоять на конном дворе, а днями возить для Кузьмы из недальнего ельника бревна.

Кроме коней прихватил Водокрасов и кошельки. Еживину было неловко смотреть, как Кузьма на коленках вставал на тела убитых и обшаривал их карманы. Не выдержав, он одернул его:

- Не марайсё, Кузьма!

Но Кузьма в его сторону даже не посмотрел. Лишь сказал:

- Дурак, что ли, я оставлять такое добро?! Не я, да другие его прихватят...

Иногда, подменяя Кузьму, Ефимко

стоял в карауле ворот. Здесь он тоже почувствовал в нем корыстного человека. Убедился он в этом в Пасху, когда по рыхлому, в талых проплешинах снегу к воротам на паре гнедых подъехал одетый в бобровую шапку и пышный шубняк торговец с Задворья.

- Чего везешь? - спросил у него Еживин до того, как его пропустить.

Купец выбрался из саней.

- Был заказец от писаря воеводы на десять пудов говяжьего мяса.

- И что за мясо?

Торговец начал перечислять:

- Оковалка, толстый филей, огузок, средина бедра...

- Ладно, - Ефимко открыл ворота и подивился, когда возница, заехав в город, остановил лошадей и, выбрав с возу груженый мешок, передал его ему в руки.

- Это чего? - недопонял Ефимко.

- Подарок! - высветился в улыбке хозяин саней.

- Кому?

- Да тебе!

- За что?

- За то, что препятствий не чинишь!

- Не понимаю...

- А что понимать. Бери! Или Кузьме своему передай. Уж кто-то, а он отказываться не будет.

Куль с кусками мерзлого мяса Еживин занес в холодную подклеть, опустив его на пол, где хранилось всяческое добро: солонина, говяжьи головы, бруслица и клюква, шубы, поддевки, катаники, азямы. Понял Ефимко, что это и есть поборы, какие берет Водокрасов от тех, кто въезжает в ворота с иногородья.

В тот же вечер только-только Кузьма подъехал, чтоб принять у Еживина сторожбу, он его и спросил, показав на провизию и одежду:

- Это что у тебя? Дармовое добро? Для кого, интересно, копиши?

- Для тебя! - отрезал Кузьма. - Для Настасьи твоей! Вы кто у меня? Дармоеды! Вот и кормлю я вас этим добром! И одежду отсюда для вас справляю!

Ефимко смущился. Стало стыдно ему, в то же время и гадко, словно в

этих корыстных поборах был замешан и он. А Кузьма и суровость еще напустил. Поглядеть на него - сама справедливость. Но это Ефимку не удержало. Посмотрел на Кузьму как на вора и с презрительностью в голосе:

- Добро-то чужое! Не тобой заработано и не мной! А ты его - хап!

Обозлился Кузьма. Глаза на просторном его лице изжелта потемнели и сделались узкими, как у монгола.

- Ты для меня не указчик! Так и отмечь своими махонькими мозгами - ничего в этой подклети ты не видел! И вообще не лезь не в своё!

Еживин в этот же день уговорил Настасью покинуть Устюг. Мария пыталась их было остановить:

- Как за реку-то переберетесь? Лед еще не прошел. Попадете под застругу! Поманите пару деньков.

Не послушались молодые.

Перевез их на лодке сосед Водокрасовых малый Ондрюшка Лузков. Знал Ефимко его как забавника-балахура, умевшего крякать, как утка, щелкать, как соловей, и петь, как петух.

Вылезая из лодки, Ефимко с Настасьей долго махали Лузкову руками и рассмеялись, когда малорослый Ондрюшка, отставив весла, состроил руками рупор и звонко прокукарекал.

Для чего это он? Поди-ко, хотел подбодрить молодых, уходивших в разграбленный город, где одному только Богу известно, как еще там у них сложится жизнь.

\*\*\*

Гледен выглядел нежилым. Двери, сорванные с петель. Разбитые окна. Крыши, в которых ветер перебирал шелестящую дрань. Словно вымороенной рукой прикоснулся к городу разоритель, и жизнь покинула все дома.

На южной улице, где зияли в стене проломы и чернел труп сгоревшего теремка, повстречалась старуха в собачьей, без ворота шубе, подпоясанная веревкой.

- Бабуся! - окликнул ее Ефимко. - Народ-то куда подевавсё?

- Спряталась от медведей, - ответила та и ткнула пальцем в сторону

пепелища, - воно-ко оба. Человечину ищут. Тут ее много наоставалось. Ее и едят...

Ефимко сунул руку в колчан, доставая оттуда лук. Натянул тетиву - и стрела полетела на пепелище.

- Сгиньте, адовы трупоеды...

Дом, где жил воевода с семьей, был пустынен и тих. Паутина. Разбитая мебель. По-ненужному громко стучали шаги. Ощущалась настороженность, словно кто-то кого-то здесь ждал. Обошли людскую, кухню, горницу, все палаты.

- Неужели я тут жила? - ужаснулась Настасья. - И тятя тут жил... И мама...

При слове «мама» она закрыла лицо руками, и плечи ее затряслись. Ей представился тот жутковатый морозный день, когда ее мать, словно месть, терпеливо ходила по улицам Гледена, абы только встретить убийцу мужа. И ведь встретила. Князь Василий позволил ей посмотреть на себя. Позволил и выговорить ему: «Я - жена казненного воеводы. А казнил его ты, хитрован и палац!»

Больше он ей ничего не позволил. Выхватил меч и, взмахнув, завершил разговор.

Об этом узнала Настасья от гледенских бабок, когда те еще ранней весной приходили в Устюг за провиантом и рассказали ей эту угрюмую весть.

Выходя из терема на крыльцо, Настасья сказала:

- Не пожить нам, Ефимушко, тут...

Решили пойти в слободу. Дом Ефимки, если сравнить с хоромами воеводы, был настолько низок и мал, что казался ненастоящим. Стоял он на берегу реки Юг. Оконца с бычьями пузырями были целы. Цела и русская печь. Но больше здесь не было ничего. Все расташено. И матери не было. И отца. Прибежавшая из соседнего домика хроменская, с горбом бабка Павла поведала молодым:

- В слободе у нас, как в пустыне. Считай, никого. Я да кузнец Филимон. Остальные еще по зиме бежали. Спасались от варваров, кто где мог. Многих в дороге поубивали. А про тво-

их, Ефимушка, мамку с отцом и сказать ничего не могу. В лес убегли. Обратно не возвращались...

На душе было муторно, но Ежевин не подал виду, что опечален.

- Ничего, - взворошил на лбу непокорную челку волос, - где наша не пропадала.

Первым делом они наломали вереска, подожгли его, обкурили весь дом, выгоняя стоялый воздух. И... начали жить.

Настасья хозяйничала по дому. Ефимко исследовал ближний сузем, стреляя из лука по глухарям. Однажды спустился в долину Юга, где в буреломнике встретил обросшую шерстью свинью, метнувшуюся к нему из под высокоря-пня. Он еле успел отскочить от ее смертоносных клыков и вонзил под загривок палаш, с которым та убежала в седые заросли камыша, и он шел по кровавому следу весь день, пока свинья не споткнулась и не свалилась, зарываясь рылом в испревший еловый опад.

Тушу свиньи он принес в слободу за два раза. Поделился мясом с бабкой Павлой и Филимоном, поджарым, лет сорока кузнецом, ходившим по слободе в прожженном на рукавах по-лосатом татарском халате. Филимон в тот же день отдал молодым пилу и топор, а Павла - горшок и корчагу.

Вот так сама по себе, когда наступала поруха, русских людей спасала взаимная доброта. На ней и стояла надежность славянской породы. Чувство выгоды уступало чувству привета, и тот, кто терял, от этого не беднел.

Ежевин себя ощущал богачом. Рядом - лес и река, вольный воздух, участливые соседи и, как птичка весенняя, жизнерадостная жена.

Вскоре они занялись огородом. Посеяли репу и рожь.

Вечерами из свеженарезанных лоз плели рыболовные снасти. Река играла от множества рыб. В ее перекатах, на быстрине, меж камней ставили иловые ловушки, в которые попадали щука и лещ. А к лету начали строить амбар и баню.

Слобода, как и все ближайшие де-

ревеньки, стала залечивать раны, нанесенные пришлым врагом. И Гледен, стряхнув с себя пепел пожарищ, начал уверенно возрождаться. Что ни день, то Сухона доставляла на гледенский берег семейных людей, кто когда-то отсюда бежал и вот возвращался. Повсюду слышался говор плотницких инструментов.

Никогда Ежевину не было так отрадно. Какое бы дело он ниправлял, всюду ловил на себе поглядки Настасьи. Та следила за каждым его движением, жадно присматриваясь к тому, что он делал, чтобы потом и самой сделать то, что делает муж. И ведь многое ей удавалось. Месяца не прошло, а она уже метко стреляет из лука, попадая даже в летящих рябков. И морду в протоке кипящего Юга ставит сама. Сама же из этой ловушки и рыбины выбирает.

\*\*\*

Год спустя у них появился малыш. Назвали его Антошой. К этой поре, как и многие гледенцы, они уже обжились. Завели корову, бычка и лошадь. И земли прирезали к огороду, отвоевав ее у черемуховой низины, пройдясь по ней топором и огнем. Построили теплый бревенник, чтобы было где зимовать домашней скотине. И подряд у города взяли - заготовлять и возить для крепости лес.

Настасья сама удивлялась своей ненасытной охотке к грубой работе. Насколько помнит себя, за восемнадцать девичьих лет ничего делать ей не давали, холили и тешили, берегли от всего, что могло бы ее огрубить, испачкать и опечалить. Росла она без подруг и уличных развлечений, точь-в-точь затворница светлых палат, откуда могла быть вырваться в мир только с мужем, которого ей выбирали из тех досточтимых кругов, где в цене были знатность и родовитость.

И вот она мужняя женка. Ефимко ее из простого народа. Нет у него ни чина, ни сана. Но есть то незримое, не затолканное веками особое древнее благородство, с каким защищают женщину и ребенка. Настасья не может забыть тот холодный январский

день, когда осквернитель, как зверь, набросился на нее, срывая одежду, и она, обмертвев, приготовилась было пройти сквозь позор, как вдруг этот блеск топора, перерубленный череп, падение тела и низко склоненное к ней молодое лицо, выражавшее беспощадность и тут же - смущение и испуг.

Ефимко спас ее и от тех нечестивцев, которые рыскали по палатам в поисках денег, наживы и женщин. Потому скрежетнувшая в петлях пародная дверь, торопливые, как при полоне, шаги и звучали в ее ушах как погибель. О, как смирино она замерла, когда Еживин, подняв ее, как перо, бросился с ней в черноту домового подполья, и она сквозь растерянность, дрожь и испуг ощутила себя живущей. Но живущей до той лишь секунды, когда увидела тятю, висящего на стене, без кольчуги, в железной мисюрке на скорбно опущенной голове, с распятой рукой, из которой торчал забиваемый стражником кованый гвоздь.

Она забыла себя, потеряв малейшее представление, что происходит кругом и с ней. Видимо, это было дно жизни, откуда не поднимаются на поверхность. Но она поднялась, потому что с ней рядом был мужественный Ефимко. Не забудет она и того недавнего дня, когда они возвращались из Устюга в Гледен и при виде разграбленного жилища, где предстояло им жить, готовы были уйти в уныние, однако Ефимко собрался с духом, заставил себя улыбнуться и даже невесело пощупить:

- Была б голова да на все штуки - руки!

И обнял ее.

И она приобмякла, на шутку ответила шуткой:

- Тяжелей ведь медведя! Не висни!

А он аккуратно накрыл ее голову крупной своей ладонью, под которой она ощущала себя как под крышей, и мягко сказал:

- Гли-ко! Опять-то ты вся у меня пристеснялась!

Вот так и пошли у них дни. Без тоски и печали, вглядываясь в свою, они сознавали, что в жизни бывает не

только мята, но и спокойная тихая благодать.

\*\*\*

Из высокой осины, стоявшей на том берегу бурливого Юга, Еживин начал выдалбливать лодку. Неделю долбил, а потом заливал горячей смолой. Успел поставить долбленику в реку до июльского сеностава. Опробовали втроем. В веслах - Настасья, Ефимко - в корме, а на сердце долбленики, в охапке мягко-го сена - полуторалетний сынок.

Солнышко. Синяя спинка реки. Упавшие с берега в воду тени горбатых ольшин. Всплеск воды над веслом.

Еживин показывает на берег:

- Эко ты! Зайко уселся под вересницу. Глянь-ко, Антоша!

Антоша в льняной оболочке, русо-волосый, с острыми глазками - право, речной воробей.

- Гу! Гу! - отвечает отцу и наклоняется так, что вот-вот перевиснет в реку.

- А вон и другой! - смеется Настасья. - Вон, в маловодье! Булькает лапками! Охти мне! Воду лакает! Видишь, Антоша? Буль-буль!

Антоша, понятно, не видит, но отвечает:

- Бу! Бу!

Лодка обкатана. Славно! Ни капли воды не попало.

На берегу, приняв с рук Настасью легкого, как воробышко крыльышко, сына, Ефимко хозяйственно сообщает:

- Вересовый кол да осинова жердь - сто лет простоят в огороже. Завтра на лодке их и приплывлю.

- А я веников наломаю, - таким же хозяйственным голосом и Настасья. - Для бани! Будем Антошеньку парить. Абы набирался здоровья и сил. Пусть растет величущим, как тятя!

Настасья смеется, в подскульях лица ее вьются веселые ямки, зубы блестят, пробежавший рекой легкий луч порхает по россыпи светлых волос, точно гладит красавицу, поощряя и голос ее, и смех, и все то, что она сейчас говорит.

Утром чуть свет Еживин уже на реке. Ловит рыбу крючками, которых

наковал ему Филимон. Ловит на быстрее. Рядом - плетеная ивовая корзина. В ней - десяток лещей.

Слышно, как по траве подступают шаги. Настасья! Ефимко справляется:

- Антоша-то там один. Ничего?

- У него на заре, - отвечает Настасья, - сон, как яма. Не выберется оттоль. - Тут она притрагивается рукой до скулластой щеки супруга. - Ой! Ефимко! Это чего у тебя: как буздырь?

Усмехается рыболов:

- Оса цикнула по лицу.

Спокойно и росно на косогоре. Река от скользящих по ней волоконец тумана - зыбкая и седая.

На западе, где слободка, по-над берегом, как картинки, аккуратно подправленные дома. Самый крайний из них, с охлупнем и крутой головой коня, - дом Еживиных, весь в древесных узорах и полотенцах, с огородом, хлевом, коровьим загоном и баней.

Шагах в ста от слободки на границе двух рек громоздятся бревнистые стены детинца, а за ними - часовенки, храмы и терема.

Солнце выше и выше. И вот уже блещут чешуйки осиновых крыш, и вода в темных рвах из пепельно-тусклой становится алой, и плывущая в ней строчка уток так и вспыхивает пером.

С юга, где хвойное обережье, про бежало нервное эхо. Трава как прижалась, и вскоре из ельника, как тараканы, выползли темненькие фигурки. «Конница», - понял Еживин и побледнел.

- Живо в лодку! - велел Настасье. - Забирай Антошу - и в Устюг!

- Как? - испугалась она.

- Вятичи или татары! Идут на нас с боем! Скорей!

- А ты?

- Я - туда! - показал на детинец.

Провожать семейку было уже недосуг. Настасья с еще не проснувшимся сыном бежала к реке. Эхо топота быстрых копыт приближалось, как летний ливень. Еживин отпер ворота и хлев, выпуская на волю быка и корову. Сам вскочил на сивого в яблоках пошатнувшегося под ним молодого коня.

Где-то блеяли овцы. Из зеленых

рябин на кауром, пригнувшись, вылетел вершник. Ефимко узнал кузнеца Филимона.

«Авось и успеем!» - Еживин моргнул, разглядев пролетевшую возле щеки стрелу. А потом - и вторую. И третью. Целое сеево стрел. Одна из них все же вкололась чуть выше шеи, но кость не пробила, и он доскакал до крепости целым. А Филимону не повезло. Уже за воротами крепости, обернувшись, Ефимко увидел, как кузнеца достала стрела, и он, как ныряя, грудью грохнулся о дорогу.

Гледен был застигнут врасплох. Перед стенами крепости - горстка людей. И все с опущенными мечами, точно ждали богатыря, кто весь бой возьмет на себя, и тогда что-то может перемениться.

Не слезая с коня, Ефимко из рук молодого, в лаптях, с крестом на груди расторопного стражи ворот принял копье. Развернувшись, спросил:

- Где воевода?

- Не знатко, - ответили за спиной.

Он и несколько горожан кто верхом, кто пешком бросились за ворота, на подходе к которым висел над копанным рвом бревенчатый мост. И сбились с летевшими на аргамаках конниками незванцев.

Была суматоха и свалка. Ефимко ударил копьем в переднего вершника в глухо застегнутом доломане. И тот, не успев ответить ему на удар, громоздко рухнул с конем под мост. Кто-то еще свалился, да так, что брызги воды окропили Ефимку.

Наступавшие развернули коней. И защитники развернули. Была минута нечаянной передышки. Кто-то спросил:

- Кто они?

Кто-то ответил:

- Поганцы из Вятки.

Через пару минут, как волна, покатила на Гледен главная сила, впереди которой свистели горящие стрелы.

Тут и там загорались от стрел древесные крыши. Кто-то маленький, с жидкой, как у Батыя, бородкой сунулся было с хоругвью к мосту. Но сразу же был затоптан десятком коней.

Еживин потерянно оглянулся. Из

тех, кто был в вылазке, - никого. Куда подевались? Неужто попрятались по дворам?

Вятские вершники точно в таких, как у гледенцев, летних кафтанах, вломившись в ворота, рванули не прямо, где прял ушами сивый в яблоках конь, а на нем восседал готовый к отпору Еживин, а вправо, по переулку, наверно, увидев сбегавших от них безоружных людей, и решили себя потешить в погоне.

Ефимко мешкать не стал. Дернул уздечкой, и конь поскакал по западной улице к стыку двух стен, под которыми мирно несли свои воды Сухона с Югом.

Возле терема воеводы сивый резко осел, и Еживин, ломая копье, свалился пластом на дорогу.

В животе молодого коня чадила обвитая паклей стрела. Рядом, где боковой переулок, просыпалась дробь торопливых копыт. Ефимко понял свою обреченность. Бежать было некуда. И зачем?

Он устало поднялся, сделал пару шагов.

- Голодыры! - услышал свирепый оклик.

Он обернулся. Прямо над ним возвышался с саблей в руке юный вершник. Узкощекое лицо вершника было сухим и надменным и выражало ту самую власть, от которой сейчас зависел Ефимко.

- Хочешь жить?

- Не хочу, - ответил Еживин.

Вершник ему не поверил.

- Ты кто?

Еживин с насмешкой:

- Пихто!

- Ах ты, мурло!

Ефимко пригнулся под саблей, сверкнувшей возле его головы, и, схватив руку с крыжем, навалился всем туловом на нее. Всадник съехал с седла, опрокидываясь на землю.

Убивать Еживин его не стал. Заскочил на белого с грязной гривой коня и помчался к реке.

До берега Сухоны было еще далеко, а Ефимко уже разобрал стук копыт за спиной. «Авось и уйду», - подумал, влетая в створ приоткрытых во-

рот, выходивших к реке. Однако конь был хромой и скакал многим тише, чем те, которые сзади.

- Не стреляй! - раздалось за спиной. - Живьем заберем!

«Ну уж нет, - покривился Еживин.

- Живьем не получите!»

Берег, где змеилась тропа, был крутым, и Еживин, спустившись к реке, что есть мочи ударил коня по бокам. Конь заржал, даже встал на дыбы. Но почувствовал снова пинки и, взъярясь, как слепой, поскакал на плоты. А с плотов с диким храпом - в реку!

Треск мостков. Холм воды на взметнувшейся гриве коня. И обоворванная уздечка.

- Ведь уйдет! Ведь уйдет! - завопила погоня.

Отвалился Ефимко от крупа коня. Погрузился в реку. И поплыл под водой. Синева. Кое-где покрытые слизью и зеленью гладкие камни. И огромным куриным желтком проползвшее в омут реки матерое солнце.

Послышался скрип уключин и буханье весел. «За мной, - догадался Еживин, - хотят меня потопить...»

Через пару минут, когда воздух иссяк и удушье схватило, как смерть, за горло, он метнулся наверх, угадав под самую лодку. Тут и яростный бульк, с каким три пики нырнули в реку. Одна из них соскребнула кожу с плеча. Ефимко, не чувствуя боли, выпрыгнул из воды, ухватился руками за борт. Лодка тут же перевернулась, и ловцы, как один, громыхнулись в реку. Никого топить Еживин не стал. Пусть спасаются, кто как может.

Он поплыл к пологому берегу, не оглядываясь назад. Забирала угрюмая думка: где Настасья? Где сын? Всяко лодка не подвела, и они успели выплыть из этого ада?

Охолонуло сердце Ефимки, когда он нечаянно обернулся и увидел горящий Гледен. Никогда он не видел такого пожара. Языки огня прошивали не только крыши, но и плывущие где-то над ними ленивые облака, отчего казалось, горит и небо.

Выбредая на берег, Еживин не обнаружил на теле своем ни берестовых на босу ногу ступней, ни рубахи, ни

даже портов. Слишком долго он бил-ся с рекой, и она его пощадила, но взамен за это взяла одежду. Пришлось задержаться возле березы, сдернуть с нее пластину коры и, изладив ци-линдр, отправиться в нем глядя на ночь к семье.

\*\*\*

Ходко плыла по бурлящему Югу долблена. Настасья еще и грести как следует не умела. Однако гребла. А крохотный Тонька лежал, преспокойно посапывая, на сене.

Журчащие воды толкали лодку так торопливо, точно спасали ее от беды. В Сухону лодка влетела, когда за сте-нами резко заржал подстреленный конь. А потом началось. Летящие фа-келы. Дым. А над дымом, как голова дракона из сказки, в небо взвился ог-ненный смерч. «Батюшки-светы! Как-то там у меня Ефимко? - Настасья бросила весла. - Хоть бы с ним ниче-го... Хоть бы... Хоть бы...»

Она посмотрела на сына. Потом на дым, сквозь который карабкалось солнце, такое печальное, без сияния и лучей, что стало ей жутко. И она, оттолкнувшись от мелководья, направ-ила лодку к той стороне, где белел надбережный песок, а за ним зелене-ли березы и елки.

Дальше все она делала машиналь-но. Переплыла реку. Втащила долбленку на отмель. Взяла непроснувшуюся Антошку и тропой вдоль реки по-шагала к устюгскому детинцу.

Дом Водокрасовых встретил Настасью распахнутой дверью, в которой стояли Мария с Кузьмой. Оба взволнованы не на шутку.

- Бедовская девка! - сказала Мария.  
- Да еще с малышом! А как добрались?  
- На лодке.  
- А где-ка Ефимко?  
- Не знаю...

Настасья сама не своя. И Мария не лучше. Забрав проснувшегося Антошу, ушли на берег, где собирались кучками устюжане.

Пожар был лют. Каждый, кто при-ходил на устюгский берег, мог видеть не только пылающие дома, терема и башни, но и зловещее устье двух рек,

отражавшее огненную стихию. Каза-лось, горела вода и где-то над ней ме-тались красные птицы, которым не-куда было уже и лететь.

Возвратились домой. Скорбные, как с похорон. Настасья глядеть ни на что не может. И разговаривать тоже невмочь. Прилегла вничью на лавку. И Антоша вничью с ней, послушный и молчаливый, точно чувствовал мами-но горе и не смел ей мешать.

Тишина была в доме и ночью, и вдруг по крыльцу - еле слышимые шаги. Дверь открылась. А в ней опоя-санный белой берестой - голый Ефим-ко.

Ах, как споро вскочила Настасья! И Мария откуда-то поднялась. Разжи-вили огонь. Смеются. И обе в голос:

- Андели! Как ты, Ефимушко? Как ты из этого пекла?

- Водой...

Слов у Ежинина нету. Он устал. Он расстроган. Он рад. Сестра нашла для него одежду. Одеваясь, взглянул удо-воленно на Антошу. Тот клекочет, как ястребенок, и бочком, босичком не-уверенно, но азартно одолевает доро-гу от лавки до печки, возле которой стоит улыбающийся отец.

\*\*\*

И опять, как два года назад, стали жить две семьи под единой крышей. Тесновато, неловко и неудобно. Но что же делать? Возвращаться в Гледен нельзя. Всё сгорело - и сам детинец, и слобода, и соседние с городом дере-веньки. Предстояло налаживать но-вую жизнь.

Дня не прошло, а Ефимко уже ре-шился. Приказал самому себе: «Буду ставить свой дом!»

И не стало времени у него. То он валит деревья в лесу. То кряжует их. То вывозит бревно за бревном. То ос-матривает пустырь, размечая на нем фундамент.

Работы он не боялся. Потому и по-становил: въехать в дом до зимы.

Помогала ему Настасья. Она даже шалашик сделала для Антоши, чтобы быть постоянно около мужа.

Лето стояло теплое. Без дождей. Настасье нравились плотницкие ра-

боты, и она, взяв топор, забиралась на угол сруба и усердно, как муж, вырубала за чашею чашу.

Антоша всегда у нее под приглядом. Коли спит в шалаше на мягкой овчине, то и сердце у мамы на месте.

Но вот раздается воинственный крик. Раздвигается полог. Антоша делает резвый шажок. Настасья с улыбкою наблюдает.

Вот он с крутой перевальцейступает по стружкам. Одолевает их и идет к травянистому загонцу, где привязанный за веревку ходит по кругу рогатый козел. Не дойдя до козла, Антоша кричит ему:

- Э-э!

Козел приближается к карапузу, подставляет бороду так, чтобы малый взял ее в руки. И Антоша берет, пропуская бороду между пальцев. Личико в эту минуту становится очень серьезным, а на губе вырастает азартный пузырь.

- По-по! - говорит, как приказывает, Антоша, что означает «Пошли!» И козел осторожно, дабы невзначай его маленький друг не споткнулся, направляется по траве, увлекая с собой и Антошу. У колоды с водой опускает рогатую голову, и Антоша плюхается в траву, наблюдая за тем, как животное пьет.

Напился козел. Повернулся к Антоше. Глядит с ожиданием и надеждой.

Малый понял его. Быстро-быстро встает. Подступает к вкопанной в землю маленькой табуретке, на которой - горбушка хлеба. Берет ее - и обратно к козлу.

- На-а!

И козел, деликатно забрав зубами горбушку, благодарно и важно трясет головой.

Настасья спускается к сыну.

- Вот и ладно, - гладит малого по головке. - Покормил козелка. А теперев и сам покормисе. Будешь?

- Бу, - соглашается сын.

\*\*\*

Не торопит Бог дни. Идут себе и идут. И, конечно, он знает, что живущему на земле, дабы быть устойчивым

в этом мире, надо много уметь и иметь.

Еживин надеялся на себя, на свой опыт, терпение и сноровку. Потому и построил свой дом с русской печью, широкими лавками, сенником и двором для лошади и коровы. Это потом он будет достраивать баню, амбар, дровяник, изгородь и ворота. А сейчас, по декабрьской поре, за белым, пахнущим липой столом он окинет взглядом родню и скажет:

- Абы дом стоял, яко крепость! Долго-долго стоял!

- Хорошо, кабы не было войн! - возмечтала Мария.

И Кузьма возмечтал:

- И жилося бы нам богато!

И Настасья в том же ключе:

- И сердце бы было всегда на месте...

А когда ендова поплыла по застолью вторично, Еживин встал и уставился взглядом на поставец, где стояла, светясь лицом Бога, большая икона, и выразил голосом то, что держал постоянно в душе:

- Дай, Господь, безбоязненной жизни лет хотя бы на сто!

- Это самое то! - улыбнулась Настасья.

А Мария словно черту подвела:

- Сотню лет бестревожици и покоя...

Сотню лет. Человеку так мало надо. И чего бы не дать? И ведь дал бы, наверное, Бог. Да не все от него зависит.

Не хотите ли лет двенадцать?

\*\*\*

Кривыми дорогами шел Дмитрий Юрьевич от престольной Москвы, где его не признали великим князем. Шел Шемяка и через Галич, около стен которого был разгромлен войсками Василия Темного. И после кружения по северным городам вышел к Сухоне, чтоб отправиться вниз по реке на дощаниках и насадах.

Устюг не выставил против него щита, полагая, что Дмитрий и есть настоящий правитель русского государства. Дабы заставить людей уверовать в это, он расправ не чинил. Требовал лишь одного - чтобы его ве-

личали всея Руси князем.

Нашлись, однако, горячие головы, которые называли его душегубцем и призывали посадских людей к отпору. Приспешники Дмитрия выявили таких, и вскоре они предстали перед Шемякой.

Дмитрий Юрьевич восседал на высоком сухонском берегу в березовом кресле, специально вынесенном на волю из воеводских палат. Широколицый, в парадном кафтане, высоких кожаных сапогах, выглядел он усталым и недовольным.

Внизу шагах в пяти от Шемяки конвойные подводили связанных за руки устюжан. Пять человек: Долгошенин, Лузков, Жугулев, Водокрасов, Еживин. Вопрос у Шемяки один:

- Признаете меня всея Руси князем?

Давид Долгошенин:

- Не признаю.

Жугулев:

- Вором тебя признаю.

Ондрейко Лузков:

- Да пошел ты...

Шемяка приоживился, когда огромный, схожий с медведем, еще не старый, но и не первой молодости громила замешкался, застывая, как идол.

- Ну, а ты? - подторопил его князь.

Это было невероятно. Будто и не было в грузном теле Кузьмы Водокрасова полновесных семи пудов. Веером, уронив ниже плеч лобатую голову, на сгибающихся ногах подпорхнул к Шемяке и бросился на колени:

- Государь! Бес попутал! Сам не пойму, почему тебя ворогом называл! Не казни! Буду служить тебе, яко преданный пёс! - И, дрожа, стал нырять головой, лобызая у князя колени.

- Не усердствуй, - сказал Шемяка, - вон туда становись, - показал на стоявших чуть в стороне троих устюжан, молчаливых и важных, всем своим видом дававших понять, что они из высоких и не каждый с ними может быть рядом.

- Эй вы! - повелел им Шемяка. - Развяжите его, - кивнул на Кузьму.

Тут предстал перед князем последний из обреченных - большерукий, с крутymi плечами детина в грубом ру-

бице и коротких берестовых сапогах. Детина смотрел на него, не мигая.

- Хорошо глядишь! - похвалил его князь. - Глаз не прячешь. Я, пожалуй, холоп, и тебя на службу возьму. Хочешь?

- Нет! - отказался Еживин.

- Почему? - удивился Шемяка.

- Ты такой же, как брат твой княже Василий.

- Ну и что?

- А то, что вы по колено в крови.

- Сгинь! - Шемяка дернул десницей, словно подписывая бумагу, которой отказывают во всём. И копья стражников закачались, притрагиваясь к Ефимке, чтоб поставить его в затылок к таким же, как он.

Поднявшись с кресла, Шемяка, не глядя ни на кого, приказал:

- В Сухону их!

Потом повернулся к кучке чопорных устюжан, кто поклялся служить ему верой и правдой.

Четыре шеи вытянулись навстречу.

Шемяка выбрал самую толстую. Поманил к себе пальцем.

Водокрасов - сама покорность - тут и есть возле княжеских ног.

- Старшим тебя назначаю! - сказал Шемяка. - Будешь их, - показал глазами на подаренных, - топить, как щенят.

Водокрасов вытянулся колом, словно гвоздь проглотил, до того ему стало колко и неприятно. Однако оправился, взял себя в руки.

- Как это делать - учить не надо?

- Не надо, - ответил Кузьма.

- Жизнь за жизнь, - добавил Шемяка, - ежли кто заартачится - тоже в воду!

Был прохладный июльский вечер. Копьеносцы, одетые в летние, без рукавов доломаны, погнали плененных к реке, заводя на мостки.

Мостки, с которых полощут белье, далеко уходили в реку. Слева от них - скопление лодок, справа - дощаник, впереди - голубеющий омут реки.

Голос Шемяки как гром среди ясного неба:

- В последний раз спрашиваю, холопы: признаете меня своим князем?

В ответ - тишина. А в ней - смиренный выплеск воды, набегающей на дощаник, мостки и лодки.

Шемяка нахмурился и неспешно прошелся глазами по возившимся с камнями устюжанам, среди которых снова отметил Кузьму, прокричав ему, как собрату:

- Приступай!

Водокрасова не узнать. Минуту назад был сама оробелость, а теперь - сuroвее всех сuroвых. Даже троица устюжан, уже не чепорных и не чинных, а расторопных и дюже смиренных, с кем он вместе ворочал в суплесках камни, разглядела в нем страшного человека.

- Ежли кто что не так - утоплю! - сказал он им между делом.

И ему поверили, словно черту.

Камни были тяжелые, потому поднимали их по троёнке и, согнувшись, тащили к мосткам. Здесь Кузьма, как артельный хозяин, распределял, кому, где и за кем находится. Распределив, брал свисавшую с камня веревку, делал петлю и ловким взмахом кидал ее так, что петля сама садилась на шею.

Стражники шли по мосткам, сопровождая несчастных. Двое стражников, двое копий, упиравшихся в спины людей, ступавших друг по за другом за собственной смертью.

Плеск.

Плеск...

Плеск...

Еживин ступал последним. Сердце болело. Не за себя - за сына и за Настасью. Как они там? Без него? Ведь столько обидчиков в этом мире... И вот он почувствовал, как, прорывая рубаху, в него полезло одно, а потом и второе копье. Не зная зачем, он вдохнул, наполняя легкие воздухом до отказа, и, увлекаемый камнем, рухнул в омут вниз головой.

Дно имело уклон. И камень, коснувшись его, покатился, ломая Ефимкову шею. Рядом, как водолазы, висели, вздымая вверх ноги, его товарищи по несчастью. Еживин учゅял веревку, которая стала сползать куда-то к затылку. Он только и сделал, что клюнул вниз головой, и камень свалился. «К лодкам!» - выblesнуло в сознании,

и Ефимко поспешило оттолкнуться и поплыл, работая лишь ногами. Пере-вернувшись спиной ко дну, увидел смоленые днища. «Не шуметь!» - повелел самому себе и еще потерпел, проплывая к окну двух неплотно стоявших друг к другу лодок. Здесь и вынырнул. Здесь, где был никому он не виден, и решил переждать. Здесь и узел, сидевший зверьком на руках за спиной, попытался сорвать.

\*\*\*

Ночь была звездной, но без луны. Мрачновато темнела река, неся на себе отраженное небо. Берег как бы попятился, отступая, когда Ефимко выбрался из воды. Веревочный узел он развалил, растерев его о долбленику, и теперь его руки были свободны. Пригнувшись, как тайный лазутчик, Еживин шел, поднимаясь по склону, то и дело прячась под лиственным свесом берез.

Пробравшись сквозь взлом в крепостной стене, он направился вдоль теремов, где обитали служилые люди. Мертвая тишина. Казалось, имела она глаза и глядела из каждого ворот и каждой калитки.

Возле дома сестры, выходившего расписными воротами на дорогу, Еживин почувствовал, что за ним наблюдают. Глядят от крыльца, где темнел силуэт неподвижного человека. «Неужто Кузьма?» - подумал Ефимко и тут же свернул на дворовый лужок.

Так и есть. При виде Ефимки Кузьма спустился с крыльца.

Еживин остановился. Сузил с ненавистью глаза.

- И чего мы теперь будем делать?

Водокрасов сказал:

- Я не видел тебя.

- А коли бы видел?

- Завтре и стал бы с тобой разбираться.

- Почему это завтра? Почему это ты? - не понял Ефимко.

- С седнишня дня я в городе воевода!

Не поверил Еживин:

- Берешь на храпок?

- Дмитрий Юрьевич повелел!

- Этот изменник?

- Не изменник, а князь всей Руси!

- Вот те на! - усмехнулся Ефимко.

Водокрасов угрозно и строго, словно был уже в должности воеводы:

- Хочешь жить - исчезай!
- А ежели не исчезну?
- Тогда и жить тебе до утра.
- До утра?

Кузьма объяснил:

- Живым Шемяка тебя не оставит.

Я же тебя к нему и сведу. Так положено мне по службе. Исчезай, говорю!

Еживин мешкотно развернулся. И пошел, как с великого поруганья.

Вот и улица Голая. Маховые качели. Там за малой часовней - копанный пруд, а за ним огород и красивый, с древесным конем на охлупне, дом.

Он ступил на крыльцо.

Дома его не ждали. Настасья глядела из темноты, как он тихо вошел. И Антоша глядел, не веря тому, что видит живого отца. Ведь они были там. Правда, близко не подпускали, так они, как и многие устюжане, затаились в стене детинца и видели всё. Оттого и не верили в то, что он здесь. Им казалось, что это мереск. Настоящий Ефимко сейчас в воде. А этот? Этот - ненастоящий. Он мерещится им. Пройдет минута - и он растает. Пропадет, как виденье. И снова к их сердцу подхлынет необоримая скорбь-тоска.

- Чу-у! - Ефимко раскинул руки, давая понять, что все-таки он не мертвый и что бояться его ни к чему.

- Тятя! - с радостным криком бросился сын, обнимая отца за шею.

А Настасья, будто подстреленная стрелой, соскочила и тут же села, не найдя в ногах сил.

- А мы-то! - заговорила она, захлебываясь от радости и от слез. - Мы-то с Антошой тебя уже было похоронили. Страсти какие! Как и в уме устоять!

- Ничего, - улыбнулся Ефимко. - Все образуется. Все будет ладно.

- Тятя! Тятя! - это сынок. Долговязый, тонкий, как вересинка, весь не в меру ласковый и горячий. - Тебе надо спасаться! Бежать! Коль останешься дома, то схватят!

На лице у Антоши - тревога. Говорит, словно видит все то, что сделают завтра с отцом, если тот не покинет свой дом.

- Как скажете, так и будет, - вздыхает Ефимко.

И Настасья вздыхает:

- Так, Ефимушко, мы и скажем, что надо тебе уходить.

- Да, пожалуй, - Еживин садится на лавку. - Только вы-то как тут? Без меня?

- Ты о нас не тужи! - заявляет Антон. Заявляет так убежденно, что не верить ему нельзя. - Я не маленький! Маму нашу в обиду не дам!

Еживин смотрит на сына. Видит в его недовыросшем, спрятанном под нательной рубашечкой теле, жидкоглазых руках и лице с ожидающими глазами что-то готовное, жертвенное, родное, в то же время и жалкое, как у всякого отрока, взявшего на себя обязательство не по силам.

Приказав себе улыбнуться, Еживин поднялся с лавки и обещающим голосом, словно знал наперед свои дни:

- Всё равно ворочусь!

Он ушел налегке, взяв с собой лишь кресало, охотничий нож и немного еды.

- Ну, куда я? - спросил самого себя, как только выбрался за калитку и направился переулицами к реке.

Там в волокнах тумана среди напольшней темноты разглядел плоскодонку. Сел в нее и поплыл, отпихиваясь шестом.

Где-то рядом, укрытый предутренней мглой, молчаливо таился город, откуда Еживин бежал, не простившись толком с семьей.

Ночь редела, и в тишине далеко-далеко, как на самом краю земли, беспокоя окрестность, закрякала утка. «Ничего, - стиснул зубы Ефимко, - как-нибудь...». И, дивясь, уловил вдруг в себе сквозь растерянность и тоску какое-то светлое облегчение, словно душа его, вырвавшись за предел человеческого страдания, ничего не нашла для себя в том далеком пространстве и вернулась назад. И стало Еживину легче и проще, как гонимому беглецу, который всеми своими костями почувствовал, что, куда бы он ни уплыл, ни сгинул и ни девался, так и так ему быть на возвратном пути, что петляет по белому свету, но ведет и выводит домой.